
Павел Михайлюк
Мать?

Павел Михайлюк
Мать?

https://litres.ru/74899994
SelfPub; 2026

Аннотация

Как получается, что человек, который должен быть ближе всего, всего роднее, становится твоим заклятым врагом?

Авторское исследование тяжёлой темы — взаимоотношений с деспотичной матерью, чья агрессия не имеет видимой причины и оттого особенно страшна. Личный опыт становится здесь зеркалом, в котором многие узнают себя: публичные унижения, пассивная агрессия, телесные наказания, разрушение доверия — и то, что вырастает из забитого ребёнка, когда он становится взрослым, не умеющим ни постоять за себя, ни сказать «нет», ни принять радость без страха.

Павел Михайлюк
Мать?

Пролог

Посвящаю своей матери

Как получается, что человек, который должен быть ближе всего, всего роднее, становится твоим заклятым врагом? Я долго думал, что стоит за непростыми отношениями с матерью — деспотичной, нетерпимой, зачастую раздражённой непонятно чем. Раздражение это не имеет видимой причины. Именно поэтому оно так страшно: ты не можешь его ни предупредить, ни обойти, ни заслужить, потому что оно не зависит от тебя. Ты можешь быть самым тихим ребёнком на свете — всё равно оно найдёт тебя. Найдёт именно потому, что ты тихий, потому что ты не отвечаешь, потому что ты есть.

Возможно, она отыгрывается на тебе за свою несчастливую жизнь. За свои неудачи в личной жизни, символом которых являешься ты. Эту мысль я тоже долго не мог позволить себе до конца — она казалась мне слишком жестокой к ней, слишком несправедливой к женщине, которая, в сущности, была мне матерью и в редкие минуты даже казалась любящей. Но потом я наблюдал то же самое в других семьях, в чужих историях, в книгах, которые читал запоем, — и постепенно понял простую, болезненную вещь: ребёнок часто бы-

вает не причиной родительской ярости, а её экраном, на который проецируется всё, что родитель не смеет сказать миру. Миру мать не скажет — мир её ударит обратно. А ребёнок не ударит. Ребёнок проглотит. Ребёнок помолчит. На ребёнке можно отыграться безнаказанно, и именно эта безнаказанность и есть самое страшное.

Что получается из этого забитого ребёнка? Я видел таких. Я сам — такой. Человек, который ходит с ноутбуком на работу, чтобы в перерывах между отсутствием клиентов поиграть в любимую игрушку, потому что дома он поиграть не может — не разрешает жена. Он тряпкиничает, скрывается, врёт, изворачивается. Вечно пытается всем угодить, лебезит перед открытой и пассивной агрессией своего начальника, жены, друзей. Он не отвечает, когда его унижают, — улыбается или молчит, потому что в детстве его научили: отвечать опасно. Отвечать — это усугубить. Лучше промолчать, переждать — буря пройдёт мимо. Но буря не проходит мимо. Она бьёт тебя ровно с той силой, с какой теряется твоё доверие к людям, которое ты больше никогда не вернёшь.

Кто виноват — отсутствие характера или воспитание? Этот вопрос я задавал себе сотни раз и сотни раз ответ ускользал от меня, потому что он не может быть однозначным. Возможно, и то, и другое. Может быть, ребёнок родился мягким, податливым, как глина. Но из мягкой глины можно вылепить что угодно — человека, умеющего постоять за себя, знающего свою цену. Глина — это не приговор. Глина

— это материал. Вопрос в том, кто лепит. А мать не лепила. Она не научила меня постоять за себя — она научила меня подставлять другую щёку. Не научила говорить «нет» — научила говорить «да» всегда, кому угодно, на что угодно. Не научила отстаивать границы — потому что в её мире у меня не было границ, была только обязанность подчиняться. Не научила ценить себя — потому что в её мире я не имел ценности: был «говном», «собственностью», «гением» в кавычках. Она не дала мне ни одного инструмента, которым взрослый человек защищает себя в мире: ни уверенности, ни самоуважения, ни права на голос, ни права на гнев. Забрала всё это ещё до того, как я успел им обзавестись. И теперь, когда мир бьёт меня, я не умею защититься — не потому что у меня нет характера, а потому что меня этому не научили. Мать только воспользовалась моей мягкостью, как пользуются чужой слабостью все, кто сильнее.

Но даже если твоего характера хватит на преодоление этого кризиса — а некоторым хватает, и я преклоняюсь перед ними, потому что сам я не из их числа, — всё равно в душе останутся раны. До конца открыть её ты уже никогда не сможешь. Ты научишься улыбаться, общаться, научишься, может быть, даже любить — но любить будешь осторожно, с оглядкой, с зажмуренной душой, готовый в любой момент отдёрнуть руку. Потому что в детстве тебя научили: протянул руку — получишь по ней. Не раз в жизни, а каждый раз, когда осмелишься.

Эту повесть я пишу не для того, чтобы обвинить. И не для того, чтобы оправдать себя. Я пишу её, чтобы ребёнок, которым я был, наконец был услышан — если не матерью, то хоть кем-то. Если хоть один читатель узнает в этих страницах себя и почувствует, что он не один, — значит, я писал не зря. А если узнает себя кто-то из тех, кто сейчас воспитывает своих детей, и остановится на секунду, прежде чем закричать или ударить, — значит, я писал действительно не зря.

Я не знаю, была ли она счастлива. Я знаю только, что я не был. И что ребёнок, которым я был, до сих пор существует где-то внутри меня и ждёт — не матери, нет, он давно перестал её ждать, — а простого, обыкновенного, того, чего ему не дали: чтобы его не ругали за то, что он есть.

Эту повесть я посвящаю своей матери. Не потому что благодарен. Не потому что простил. Я не благодарен. Я не простил. Может быть, никогда не прощу. Но я посвящаю ей эту повесть, потому что без неё — без всего, что она сделала, и чего не сделала, и как она это сделала — этой повести не было бы. И меня, который пишет эту повесть, не было бы. Я — её след. Я — её рана, обращённая наружу. Я — её «эмоции», ставшие словами. Я — её ребёнок, наконец переставший молчать.

Глава первая
Публичная порка

Когда я в детстве проливал молоко отец всегда меня на-

казывал. Ловчее от этого я не стал. Только стал бояться брать молоко в руки.

— Фредрик Бакман

Мать была моей первой учительницей. Это обстоятельство, само по себе, должно было бы стать подарком судьбы — ребёнок идёт в первый класс, там его встречает самый родной человек, уроки проходят в тепле и безопасности, никто не посмеет его обидеть, потому что у него есть защита. Так это должно было быть. Так это бывает в книжках и в чужих воспоминаниях, которые я с горьким любопытством читаю всю жизнь. У меня это было не так.

Она учила меня писать. Буквы — палочки, кружочки, петельки. Я выводил их старательно, как умел, с тем невероятным напряжением, с каким семилетний ребёнок выводит свои первые прописи, — они получались кривыми, потому что рука ещё не слушается, пальцы дрожат, ручка выскальзывает. Я сидел за партой и писал. Она ходила между рядами. Когда она подходила ко мне и видела, что я написал «некрасиво», она ничего мне не говорила, не поправляла, не ругала — она просто брала меня за ухо и со всей силы дёргала. Прямо во время урока. При всех тех ребятах, с которыми мне предстояло учиться десять лет, дружить, ссориться, влюбляться, играть в прятки на перемене.

Ухо горело. Я не плакал — плакать при всех было хуже, чем боль. Это я знал инстинктивно, как знают все забитые дети. Я втягивал голову в плечи, продолжал писать — но ру-

ка начинала дрожать ещё сильнее, на глаза наворачивались слезы, буквы выходили ещё кривее. Она подходила опять. Опять дёргала за ухо. Я опять втягивал голову. Буквы опять становились хуже. Это был замкнутый круг, из которого не было выхода, потому что выходом было перестать писать, а перестать писать было ещё страшнее, чем писать плохо. Я писал. Она дёргала. Ребята смотрели. Я продолжал писать.

Мне говорят иногда: ну, может, она не понимала, что делает. Может, она думала, что так лучше, что строгость идёт на пользу, что это педагогический метод. Я долго думал так же — мне хотелось так думать, потому что с этим можно было жить. Но потом я вспоминал её глаза в те секунды, когда она дёргала меня за ухо, — глаза не были глазами учительницы, которая недовольна почерком. Это были глаза человека, который получает от этого удовольствие. Маленькое, мутное, постыдное удовольствие. Это удовольствие я видел. Видели его мои одноклассники. Но никто из нас не мог его назвать, потому что мы были детьми и у нас не было для него слов.

В третьем классе я начал писать книги. В моей голове зарождались истории, которые крутились, развивались, я не мог перестать жить в вымышленном мире, пока не записывал их в тетрадь. Я писал, рисовал картинки в тексте и в виде вкладышей, оформлял как настоящую книгу — с данными моего вымышленного издательства и прочими атрибутами. В этих вымышленных мирах я мог быть собой, мог быть в безопасности, мне не нужно было втягивать голову в плечи,

меня не могли дёрнуть за ухо. Я писал рассказы, повести, стихи. Я их никому не показывал. Но как-то так выходило, что она их читала и всегда жестко критиковала. Причем критиковала перед ребятами. Перед теми самыми ребятами, что сидели со мной за одной партой и видели, как меня дёргают за ухо.

— Писатель он! — говорила она, и голос её звенел от веселого, почти злорадного восторга. — Написал рассказ! Идите, идите все сюда, посмотрите, какие глупости он пишет! «Писатель» — от слова «писа» и художник от слова «худо».

Так она говорила, и ребята смеялись — некоторые добродушно, некоторые не очень, — а я стоял и думал: я не написал что-то плохое. Я написал, как умею. Я написал то, что у меня на сердце. Но объяснить этого я не мог, потому что она не дала бы мне говорить, а если бы дала — всё равно бы не услышала или обсмеяла.

Однажды она прочла мой текст при всех и произнесла длинную речь. Я помню её почти дословно, потому что такие вещи не забываются, они врезаются в память, как вмятина на столе от швабры, — след, который остаётся навсегда. «Извините, — сказала она с видом снисходительного снисхождения, какое бывает у людей, уверенных в своём праве судить, — дальше двух страниц я не продвинулась. Слишком впечатлилась домом, стоящим на коленях, метаморфозой девушки в даму, воротником, который дыбом поднял ветер в помещении».

Я стоял и слушал. Я не отвечал. Что я мог ответить? Что дом на коленях — это метафора? Что девушка и дама — это намеренный контраст? Что воротник, поставленный ветром, — это образ, а образ не обязан быть физически точен? Она бы не поняла, потому что она не хотела понимать. Она хотела, чтобы все видели, какой я глупый. Она хотела, чтобы все знали: он не писатель, он ничтожество, он воображает о себе невесть что, — и она, его мать, его первая учительница, перед всем классом это подтверждает, он ничего не стоит.

Позже, намного позже, когда я вырос, я понял, для чего всё это было нужно. Не для моего блага. Не для того, чтобы я стал лучше писать. Это было нужно для неё. Ей нужно было, чтобы при всех, при ребятах, при чужих людях, она могла публично меня обесценить — чтобы это обесценивание подтверждало её собственную значимость. Она возвышалась, опуская меня. Она становилась крупнее, делая меня меньше. Это древний, плохо пахнущий трюк, им пользуются все мелкие тираны мира — от школьного учителя до начальника отдела. Но от школьного учителя и плохого начальника можно сбежать. От матери нельзя.

Но всё это были ещё цветочки. Самое стыдное всегда происходило не в школе — в школе были другие дети, была видимость порядка, был звонок, были перемены. Самое стыдное происходило на улице. На улице, где все могли слышать, где прохожие оборачивались, где стыд не имел стен и не имел потолка, распространялся до горизонта.

Я не помню, что именно я сделал — может быть, что-то сказал, может быть, что-то не сделал, может быть, просто шёл не с той стороны. Я не помню, потому что причина никогда не имела значения. Причиной всегда была она, её настроение, её усталость, её раздражение, — а я был только поводом. И она закричала на всю улицу:

— Ты моё говно! Что хочу, то с тобой и делаю!

Прохожие оборачивались. Кто-то ускорял шаг, кто-то замедлял, кто-то смотрел с жалостью, кто-то — с любопытством. Я не видел их лиц. Я смотрел на тротуар, на свои туфли, я смотрел куда угодно, лишь бы не видеть её глаз. Глаза были хуже крика. Крик ещё можно было переждать. Глаза — нет.

«Ты моё говно». Что хочет сказать мать ребёнку этой фразой? Она говорит ему: ты — моя собственность. Ты не человек, ты — продолжение меня. Я имею над тобой полную власть, эту власть я имею право осуществлять как угодно — унизить, ударить, обозвать при всех, без причины, без раскаяния. Самое страшное в этой фразе не слово «говно». Самое страшное в ней — слово «моё». «Моё». Как чашка. Как стул. Как тряпка, которой протирают пол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.